

УДК 80:1

doi: 10.18101/1994-0866-2017-2-148-156

**ОТРАЖЕНИЕ КРИЗИСА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В ЛИТЕРАТУРЕ ПОЗДНЕСОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ**© *Имхелова Светлана Степановна*

доктор филологических наук, профессор, Бурятский государственный университет

Россия, 670000, Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 6

E-mail: 223015@mail.ru

© *Болдонова Ирина Сергеевна*

доктор философских наук, профессор, Бурятский государственный университет

Россия, 670000, Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 6

E-mail: irina_duncan@mail.ru

В статье рассматривается философская проблема самоидентичности человека как соотносительности его со своим подлинным «я», восприятия им себя самого как онтологически целостной личности. Проблема исследуется на материале одной из тенденций в литературном процессе 1970-х – начала 1980-х гг., выразившаяся в усилении поиска ответа на вопросы: «что есть я?», «зачем я?». Утверждая с новой силой, что потребность в самоидентификации является жизненно важной потребностью человека, писатели с тревогой отмечают отказ от нее в современном обществе. В произведениях позднесоветского времени Ю. Трифонова, А. Битова, В. Маканина, В. Распутина и др. отказ героя от самоидентификации выражается в том, что он не выдерживает испытания индивидуалистическим опытом и прибегает к растворенности в массовом «мы». А это, по мнению Э. Фромма, является ложной самоидентификацией. Такая же тенденция просматривается в национальных литературах, более всего в поэзии, где метафорой возросшей актуальности проблемы самоидентификации становится драма лирического героя, ощущающего потерю подлинной идентичности и стремящегося к поиску содержания собственной жизни, истинного «я». В книге Б. Дугарова «Сутра мгновений», в основу которой лег дневник 1982 г., ярко представлено время, когда только острая реакция художника могла уловить угрожающий кризис самоидентичности как общий духовный кризис в обществе и человеке. Способность к самоанализу, осознание значения собственного «я» для времени и пространства, осмысление места своего «я» в народной судьбе позволяют не только вписать дневниковую прозу бурятского поэта в контекст литературы позднесоветских лет, но и обнаружить пути выхода из мучительного личностного кризиса.

Ключевые слова: кризис идентичности, самоидентификация истинная и ложная, литература позднесоветского времени, русская проза, бурятская поэзия, национальная идентичность.

Проблема самоидентичности в философии и психологии рассматривается в рамках соотносительности человеком со своим подлинным «я», восприятия им собственного сознания как самотождественного, а себя самого как уникальной, онтологически целостной и самостоятельной личности.

Эта проблема — стержень, ядро и литературы, которая в каждую эпоху заново сосредоточивает внимание вокруг поисков ответа на вопросы: что есть я? для чего я? Проблема самоидентификации человеческого «я» как комплексная деятельность человека по самоопределению особенно обостряется в кризисные периоды. В русской литературе на рубеже 1970–1980-х гг. отразилось формирование новой социальной реальности, для определения которой философами и культурологами широко используется термин *постмодерн*. Выражая культурную и историческую неопределенность эпохи, термин этот стал олицетворением кризиса идентичности. Человек эпохи постмодерн потерял ощущение собственного «я» в отличие от человека традиционного общества, обладавшего ощущением самоидентичности, онтологической уверенности, аутентичности. Этот кризис имел глобальный общечеловеческий характер, а в позднесоветской культуре он был усилен масштабным сопротивлением государственной идеологии, проявлением «отрицания действительности» [10, с. 10], отказа художников от социальной реальности, которая представляла собой, по словам А. Битова, автора романа «Пушкинский дом», «отдельно жизнь от истории... человек от сам себя [3, с. 60].

Поиск человеком некоего очищенного от социума содержания собственной жизни как «желание очной ставки с самим собой» [5, с. 167] особенно остро стоит в центре прозы В. Маканина. Так, герой его рассказа «Пустынное место» с нетерпением ждал наступления такого момента, который «есть **твоя** жизнь». И в ожидании этим «емких и выпуклых минут» успокаивал себя: «...останусь один и разложу по полочкам. Я оглянусь. Я посмотрю — кто я и что я» [7, с. 364]. А боязнь остаться одному, наедине с собой, надежда на внешнее прикрытие, отождествление себя с кем- или чем-либо уловлена писателями на рубеже 1970–1980-х гг. как главная опасность в современном человеке.

«Страх жизни» — так определил болезнь современного человека, заключающуюся в кризисе его самоидентификации, Ю. Трифонов. Герой его романа «Время и место» (1980) ощущает себя в качестве пассивного участника жизни и истории, стремится преодолеть эту болезнь. Даже подвергшись напору времени, давлению социальной несправедливости, герой-писатель стремится к важному в его жизни моменту обретения собственного «я», моменту самопознания, который возможен благодаря совестливой памяти, помогающей определять и собственную судьбу, и судьбу других людей, и общее направление социальной истории.

Рядом с трифоновским героем, пытающимся преодолеть «страх жизни», обретает образное наполнение целая плеяда маканинских героев В. Маканина, отвергающих любые попытки самоидентификации. Отсюда в произведениях писателя образы стаи, свиты, толпы как воплощение абсолютного душевного беспомощия. В герое повести «Антилидер» (1980) Л. А. Аннинский подчеркнул «ненависть ко всему, что хоть на волос выдается из ряда, поднимается над безличием: высовывается из общего “как все”» [1, с. 223]. Это отождествление себя с такими «как все» смыкается со стадностью, масовостью, которые есть, по словам М. Бубера, «последний заслон, которым человек отгородился от неизбежной встречи с собой» [5, с. 229]. Пример

такого личностного выбора непродуктивен, иллюзорен, это ложная самоидентификация, которая иногда, как писал Э. Фромм, «даже сильнее, чем потребность в физическом выживании» [11, с. 480].

Показателен в этом смысле рассказ В. Распутина «Что передать вороне?» (1982), который по своему содержанию выделяется в творчестве писателя своим мистико-философским характером. Однако с предыдущими произведениями писателя его связывает интерес к субъектным, внутренним формам жизни, и он проявляется в виде неспособности героя-рассказчика отозваться на интуитивное предчувствие сделанной ошибки. В повествовании от первого лица герой-писатель проявляет обычный человеческий эгоизм и отказывает дочери в ее упрямой просьбе побыть с ней, уезжает на байкальскую дачу, где сможет уединиться и творить. Оправдываясь в своем упрямстве («не вредность была, а другое, приобретенное от прежних судорожных попыток выковывать характер» [8, с. 139]), герой тем не менее признается в своей вине перед дочерью. А когда в дороге возникают непредвиденные трудности, чувствует свою вину и перед попутчиками, которые, как он сознается, «страдали только моей милости». Это чувство разрастается до ощущения своей случайности, «подменности» своего пребывания в мире, несовпадения «с тем местом в мире, которое отведено было для другого». Вновь и вновь герой испытывает ставшее привычным состояние разлада, раздвоенности, «ненормальности»: «...у меня нет чувства полной и раздельной слитности с собою», «я никак не привыкну к себе» [8, с. 143, 144]. И причиной считает несовпадение своего потенциала с реальной судьбой, отсутствие уверенности в прочности «своего места», в неоспоримой правильности жизненного пути.

Герой рассказа «Что передать вороне?» испытывает мучительную раздвоенность сознания, описывает ее с помощью самых разных сокровенных примет: от удивления перед чуждыми, неведомыми ранее мыслями и чувствами вплоть до физического отделения второго «я» — состояния, рожденного «неприкаянностью и обездоленностью в себе». В такие минуты невозможна подлинная радость творчества. И лишь оказавшись на берегу Байкала и глядя на сливающиеся небо и воду, герой почувствует желанное облегчение. Задумавшись над недоступной тайной мира, он как бы включился в общее движение мира, влился в «общее чувствилище»: «Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует, — с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь: до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня — почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждый мгновением чувствовал себя все приятней и легче, и по мере того, как мне становилось легче, затихали и выходящие голоса». Только в этом слиянии с миром герой ощущает долгожданный покой — «покой осторожного высшего присутствия» [8, с. 154–155].

Но затем этому чудесному состоянию освобожденности, согласия с собой приходит конец, возвращается привычное раздвоение, которое ощущается даже физически: «...я вдруг увидел, как подымаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук, и одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за взглядом, выбирая удобную тропку; я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с собой» [8, с. 156]. Вернувшись в дом, герой «невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не заметаться по избежке» [8, с. 157]. Происходит возвращение к себе прежнему, обретение, себя, «каким я был вчера и стану завтра» [8, с. 156]. Состояние героя-рассказчика выражено как проявление его реальной, конкретной тоски по согласию с самим собой, а избавление от этой тоски приравнивается тайне «вышнего присутствия».

Кажется, что состояние героя есть рефлексия самого автора, для которого нет задачи сложнее, чем стремление человека достичь душевного равновесия, гармонической цельности. Распутин как бы воплотил высказанную в одном из своих интервью мысль: «В каждом из нас не меньше сложностей, чем в самом большом государстве» [9, с. 174]. Автобиографический герой Распутина вторит этим словам: «Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов» [8, с. 154].

Парадоксально, что внутренний разлад не мешает проявлению трансцендентного, а провоцирует героя если не к единению, то хотя бы прикосновению с ним. Исчезновение этой связи, выраженное в чувстве тоски, выступает как интуитивное ожидание беды, которая и случилась (как узнает герой из телефонного разговора, дочь заболела), но обретение хотя бы на миг гармонии в то же время ведет к «душевной наполненности», к чудесной способности услышать «обессловленные голоса» умерших друзей, придать услышанным звукам статус Слова как открывшейся истины.

Реальность повествования и реальность природного мира в рассказе В. Распутина смешаны и пребывают в некоем равновесии. Именно такое равновесие посчастливилось испытать герою-рассказчику, но оно, как ни парадоксально, еще больше подчеркнуло безысходность внутреннего конфликта, невозможность обретения цельности, неизлечимость одиночества («Господи, поверь в нас: мы одиноки» [8, с. 157]). Частный случай человеческого несовершенства в рассказе Распутина рассматривается не в рамках традиционной морали, а как следствие нарушения общих законов мироздания. Реалистическое правдоподобие отступает перед действием трансцендентных сил, перед загадкой связи человеческой психики и природных состояний. Рационалистическому взгляду на окружающий мир писатель противопоставляет полумистическое, полуязыческое мироощущение, наполненное творческим созиданием Слова как выходом за пределы земной реальности.

В рассказе Распутина 1982 г. объектом авторской рефлексии стало «припоминание» родового, природного, метафизического слоя человеческой природы. Герой, тождественный автору, в поисках гармонической цельности пытается услышать не только людское многоголосье, голоса ушедших людей, а также голос самой природы как трансценденции. Мышление или художество, философский дискурс или художественное творчество в такой прозе почти трудно разделить. Герой Распутина видит собственное несовершенство, обреченность на дуальное мировоззрение, расщепленное сознание, считая их свойственными человеческой природе вообще (отсюда частое использование местоимения «мы» вместо «я»). Автобиографический герой пытается если не преодолеть несовершенство человеческой природы, то хотя бы вступить в борьбу с ним, и импульсом для этого служат обостренная восприимчивость, сложная ассоциативность мышления, склонность к предчувствиям — признаки творчески одаренной природы.

При всей незавершенности, неразрешимости бытийных вопросов во внутреннем мире своих героев Ю. Трифонов, В. Маканин, В. Распутин, а вслед за ними и вся литература этого времени, пытались осмыслить жажду самопознания человека в контексте его социальной самоидентификации. Их творчество свидетельствовало о том, что проблема самоидентификации становилась самой важной и насущной для писателей с обостренным социальным чувством: поиски корней, истоков расплывающейся жизни, разорванных социальных связей невозможно осуществить без решения проблемы самоопределения человека. Особенно остро она ставится в произведениях «военной» прозы, где автор и его герой ощущают свою связь с другими «я», но каждый раз с неизбежностью стоят в ситуации самостоятельного выбора, осмысления места своего «я» в общей судьбе. Об этом повествует проза В. Быкова, В. Богомолова, Б. Васильева и др.

В чем же видят писатели позднесоветского времени условия для преодоления кризиса самоидентификации личности? Что может современный человек противопоставить воздействию на нее любой формы людской общности, силы большей, чем сознание отдельной личности? Ведь тяга к слиянию с ней, надежда на спасение «гурьбой и гуртом» так привычна для человека XX в. и так часто отдаляет его от подлинной самоидентификации. Это противоречивое чувство составляет комплекс русского интеллигента, зафиксированный в начале века А. Блоком как «трагическое сознание неслиянности и нераздельности всего — противоречий непримиримых и требовавших примирения» [4, с. 378].

Если обратиться к одному из первых постмодернистских романов в русской литературе — «Пушкинский дом» А. Битова (1972), можно увидеть, что выход из мучительного состояния неистинной самоидентификации писатели связывают с творчеством, словом, вернее, исповедью как творческим актом самопознания. Ведь ни одна сфера, занимающаяся человеческим сознанием, не выстраивала с таким упорством подлинную, идеальную реальность, противостоящую «разбегающейся вселенной», в виде Текста, Слова. Герой А. Битова литературовед Лев Николаевич Одоевцев испытывает драму нецельности, разорванности и находится в состоянии мучительной само-

рефлексии, осознания связи своего «я» с сущностными вопросами бытия. И этот далеко не совершенный герой является тем болевым центром, через который проходят силовые линии происходящих событий, окружающих людей. «В одно и то же место уязвляет меня и Фаина, и дед, и Митишатъев, и время — в меня! Значит, есть я — существующая точка боли! Вот там я есть, куда попадает в меня все...» [3, с. 62]. Все душевные опыты, находящиеся в поле зрения героя, в том числе и предшествующий опыт русской литературы (Пушкинский дом как музей) оказываются непригодны, потому что они, как убеждается Лева Одоевцев, чужие, не собственные, не годятся в образцы, и остается постигать все самому в формах, предложенных его временем. Как утверждает А. Битов в романе, весь духовный опыт русской литературы, русской истории участвует в нашем сознании, наших поисках, но главное созидательное усилие не за этим опытом, а за самой личностью, ее самопознанием и ответственностью.

Этой мысли способствует осуществленная автором романа постмодернистская «деконструкция классической традиции»: Лева Одоевцев демонстративно разрушает свой роман-музей, как это проделывали до него не раз его предшественники, и, выходя к самому себе, своему времени, своей боли, совершает акт истинной самоидентификации. Ведь прежние попытки жить в доме-музее сводились к безучастному потреблению, отказу от строительства собственного дома, собственного «я».

Способность к самоанализу, к исповедальному высказыванию особенно свойственно поэзии и ее герою, alter ego поэта, ведь поэзия — всегда «стихия поиска, жажда истины, муки творчества и радость познания» [6, с. 97]. В этом можно убедиться, прочитав прозапоэтическую книгу бурятского поэта Б. Дугарова «Сутра мгновений». Вышедшая в 2011 году, она создана на основе дневника, который поэт вел на протяжении 1982 г. и который также свидетельствует об актуальности вопроса о кризисе идентичности в позднесоветские годы. Книга служит примером активного участия писателей национальных республик в литературном процессе 1980-х гг., в частности в их непосредственном отклике на проблему самоидентификации. В лирике Б. Дугарова этого периода, судя по дневнику 1982 г., где проза и поэзия соседствуют очень тесно, важным становится стремление лирического героя преодолеть внутреннюю драму в душе, разлад в мироощущении, о чем писал вдумчивый критик [2].

События, легшие в основу дневника 1982 г., объединяет выстраданная, постоянно повторяемая и поэтически сформулированная мысль: «Жить в ладу с самим собой потруднее, чем с эпохой» [6, с. 306], которая подчеркивает в герое-авторе острое желание самоидентификации в контексте непростого времени. Быть собой, найти свой путь, свою личностную идентичность соединялось с интуитивной тягой к истории Великой Степи, истории предков: «Дверь открывается там, куда ведет тропа познания» [6, с. 97]. Этот путь уже начался, но настоящее осознание еще не приходило, что мучило, заставляло двигаться дальше. «Чем же я отличаюсь от людей?.. Может, тем, что никогда не спешу с толпой, словно в запасе у меня персонально целая вечность...» [6, с. 149]. Поэтически драма героя выражена вполне в

романтическом духе, но неотделима от самого времени забывания прошлого своего народа:

Когда бушует в мире дух нечистый
и правит сценой истина лжецов,
мне Бог дает простую роль статиста,
хранящего молчание веков.
Но как сдержат себя и жить на свете,
когда душа – она живая ведь — болит,
когда зияющая трещина столетья
прошла по сердцу и кровотоцит [6, с. 175].

В своем «истокведении» Дугаров едва ли не одинок среди поэтов-сверстников, хотя бурятская традиция помнить о том, откуда родом твои родители, жила прочно в сознании бурят, предбайкальских и забайкальских, несмотря на призывы причислять отдельные российские этносы к объявляемой новой общности — советскому народу. Причислять же себя к общности, знаменитой своими великими предками, не приветствовалось, вот почему поэт восклицает: «Я с веком петь не в силах в унисон» [6, с. 40]. В написанном тогда же стихотворении «Селенгинская элегия» лирический герой с долей иронии размышляет о бурятах, улан-удэнцах, которые позабыли о тех, кто издревле проживал на их родной земле, которые «знают Модогоева, но не знают о Модэ». И завершаются размышления героя фразой: «Странно жизнь у нас устроена. / Не хотим мы быть собой...» [6, с. 16–17].

Самое горькое стихотворение, в котором обжигающая тоска живет, не затихая, включено в цикл «Монолог бурмона»:

Я, быть может, последний бурят-монгол,
в ком струна не утихла азийских столетий.
Я искал свою песню при солнечном свете
и запел, но покоя в душе не обрел.
Мне осталось дружить с вольным ветром в пространстве
и хранить в своей памяти вещие сны.
И чем больше твердят мне о дружбе и братстве,
тем сильнее во мне одиночество, чувство вины... [6, с. 333].

Желание самоутверждения, самоидентификации как «своей песни», желание стать самим собой для поэта неотрывно от общего движения родного бурятского этноса к национальной идентичности, к той поре национального возрождения, которое уже не за горами и начнется в начале 1990-х гг. Главная же мысль книги «Сутра мгновений» поэтически выражена в авторском предисловии к ней как ответ на вопрос, что же составляет главное в самоидентификации человека, который мучил автора в 1982 г.: «Важно хотя бы на миг отрешиться от будничной прозы и заглянуть внутрь себя, обратиться к своему затаенному “я” и увидеть просинь между облаками на городском небосводе... У каждого живущего на этой земле она (жизнь) своя, зыбкая и

неповторимая. И мгновения, запечатленные в слове, это уже не “утраченное время”, а нечто иное, осязаемое сквозь дымку вечности» [6, с. 8]. Как и в рассказе В. Распутина «Что рассказать вороне?», герой Б. Дугарова выходит к мысли об извечной потребности человеческой природы «обратиться к своему затаенному “я”», особенно если речь идет о личности, наделенной творческим даром, выраженным в Слове.

Таким образом, позднесоветское время отразилось в литературном процессе необычайно острым стремлением писателей к преодолению кризиса самоидентификации, в немалой степени вызванного социокультурной атмосферой. Но это стремление было неотрывно и от философского, экзистенциального чувства, от поиска пути к совершенствованию. И хотя человек испытывал комплекс «нераздельности и неслиянности» со своим веком, его настоящая самоидентификация осуществляется в осознании значения собственного «я» и для людского сообщества, и для вечности. В произведениях самых ярких писателей живет эта вера в победу человеческого «я» над злобой дня, в его способность к истинному самопознанию, которая может служить выражением внутреннего нерва литературы данного времени.

Литература

1. Аннинский Л. Структура лабиринта: В. Маканин и литература срединного человека // Знамя. 1986. № 12. С. 218–226.
2. Бальбуров Э. Испытание на зрелость // Литературное обозрение. 1981. № 5. С. 75–76.
3. Битов А. Пушкинский дом // Новый мир. 1987. № 10.
4. Блок А. Возмездие // Избранное. М.: Правда, 1978. С. 377–422.
5. Бубер М. Проблема человека // Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995. С. 157–232.
6. Дугаров Б. Сутра мгновений. Улан-Удэ: Респ. тип., 2011. 440 с.
7. Маканин В. Утрата. Повести, рассказы. М.: Молодая гвардия, 1989. 398 с.
8. Распутин В. Что передать вороне? // В ту же землю... Рассказы. М.: Голос, Письмена, 1997. С. 252 – 272.
9. Распутин В. Право писать: беседа с Ф. Зубаничем // Радуга. 1980. № 2. С. 174–175.
10. Семидесятые как предмет истории русской культуры / ред.-сост. К. Ю. Рогов. М.; Венеция: О.Г. И., 1998. Вып. 1(9). 304 с.
11. Фромм Э. Ситуация человека — ключ к гуманистическому психоанализу // Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988. С. 443–482.

REFLECTION OF IDENTITY CRISIS IN THE LATE SOVIET LITERATURE

Svetlana S. Imikhelova

Dr. Sci. (Phil.), Prof., Department of Russian and Foreign Literature, Buryat State University
6 Ranzhurova St., Ulan-Ude 670000, Russia

Irina S. Boldonova

Dr. Sci. (Phil.), Prof., Department of Russian and Foreign Literature, Buryat State University
6 Ranzhurova St., Ulan-Ude 670000, Russia

The article reviews a literature trend of the 1970s and the beginning of the 1980s which was characterized by searching the answers on questions: "who am I?" and "why do I exist?". Marking self-identification as a vital need, the writers at the same time were anxious about refused self-identification in modern society. In the books by Yury Trifonov, Andrei Bitov, Vladimir Makanin, Valentin Rasputin and other authors of the late Soviet times, a hero's refusal from self-identification demonstrated his identity crisis as he couldn't stand the test of individual experience and was dissolved into collective "us". And this, according to Erich Fromm, is a false self-identification. The same trend can be traced in the national literature, mostly in poetry, where a metaphor of self-identification problem is a drama of a lyric hero, who is searching for a life content meaning and for his own "himself". In the "Sutra of Moments" by Bair Dugarov and his diary of 1982 on its basis the poet shows the time when an artist's reaction could feel a threatening identity crisis as a general spiritual crisis of man and society. Ability to self-analysis, self-realizing in time and space, self-comprehension in the national fate allow us to include the Buryat poet's diary prose into the literature context of the late Soviet period, and also to find a way out of personality crisis.

Keywords: identity crisis, true and false self-identification, the late Soviet literature, Russian prose, Buryat poetry, national identity.